

ПРОЛОГ

История, которую вы собираетесь прочесть, начинается в мае 1957 года в Париже.

Франция кипит: за двенадцать лет после окончания войны у нее было двадцать четыре правительства и восемьдесят девять предложений по пересмотру Конституции — не шуточки. Но французы не слишком этим озабочены: по данным недавнего опроса, только 41 процент их разговоров касается политики, в то время как темой номер один — 47 процентов — является Брижит Бардо. (В данный момент она бойкотирует Каннский кинофестиваль к вящему негодованию «Фигаро».)

А в общем жизнь прекрасна — и современна. Безработицы нет и в помине, машины блестят хромированными деталями, го-

лубой экран светит в каждом доме, в кино новая волна, в рождаемости бум, а Пикассо приступает к созданию «Икара из тьмы», гигантской фрески для ЮНЕСКО, которая покажет, обещает он, «умиротворенное человечество, устремившее взгляд в счастливое будущее».

Но конечно, не все так гладко. Там и сям, даже и во Франции, по кое-каким признакам можно понять, что до совершенства человечеству еще идти и идти.

Взять, к примеру, четыреста тысяч молодых французов, прошедших военную подготовку в Германии; в настоящее время они находятся в Алжире, где им предстоит — нет, не война, конечно, а миротворческая миссия, которая окажется, скажем так, весьма непростой.

Или вот еще...

*О! Станьте моим Дантом, а я стану вашим
Виргилием, дайте мне руку, дайте руку, не бой-
тесь, я буду рядом, я не оставлю вас на этом
долгом пути, круг за кругом, вниз...*

Вот она, Саффи. Она здесь. Видите ее?

Белое лицо. Лучше даже сказать: восковое.

В темном коридоре, на третьем этаже красивого старого дома на улице Сены она стоит перед дверью, поднимает руку, чтобы постучать, стучит; ее движения как будто сами по себе, а она сама по себе.

Всего несколько дней назад она приехала в Париж, в этот город, подрагивавший за грязным стеклом, в этот чужой, серый, свинцовый, дождливый Париж, на Северный вокзал. Поездом из Дюссельдорфа.

Ей двадцать лет.

Одега — ни хорошо, ни плохо. Серая плиссированная юбка, простая белая блузка, белые носочки, черная кожаная сумка и такие же туфли; наряд самый что ни на есть

обыкновенный — а между тем Саффи, если к ней присмотреться, обыкновенной не назовешь. Странная она какая-то. Не сразу понимаешь, откуда это впечатление странности. Потом доходит: поразительно, до чего она все делает словно нехотя.

За дверь, в которую постучала Саффи, звучит музыка: в квартире кто-то репетирует на флейте «Испанские страсти» Марена Марэ. Флейтист или флейтистка шесть, семь раз повторяет одну и ту же музыкальную фразу, стараясь нигде не ошибиться, не сбить ритм, избежать фальшивой ноты, и наконец играет ее совершенно чисто. Но Саффи не слушает. Просто стоит у двери, и все. Вот уже почти пять минут, как она постучала, никто не открывает, но она не стучит второй раз и не поворачивается, чтобы уйти.

Консьержка, которая видела, как Саффи входила в дом, разносит почту (она, по обыкновению поднявшись в лифте наверх, спускается с почтой пешком с этажа на этаж), удивляется, обнаружив на третьем незнакомую девушку, стоящую столбом под дверь, месье Лепаж.

— Эй! — окликает она.

Консьержка — безобразная толстуха, все лицо в волосатых родинках, зато сколько в ее глазах мудрого дружелюбия к существам человеческим.

— Да он же дома, месье Лепаж, дома! Вы звонили?

Саффи понимает по-французски. И говорит тоже, только не очень уверенно.

— Нет, — отвечает она. — Я стучала.

У нее низкий голос, нежный и чуть хрипловатый, — голос Марлен Дитрих, но меньше жеманства. Ее акцент не смешон. Она даже не произносит «ш» вместо «ж».

— Да он же вас не слышит! — втолковывает мадемуазель Бланш. — Надо позвонить!

Она нажимает на кнопку звонка, долго давит, и музыка смолкает. Ликующая улыбка мадемуазель Бланш.

— Ну вот!

Саффи так и не шелохнулась. Нет, все-таки эта ее неподвижность поражает.

Дверь резко распахивается. В полумрак коридора хлынул свет.

— Какого черта?

Рафаэль Лепаж вовсе не взбешен, это так, для виду. На его взгляд, не следует звонить так нагло, когда приходишь наниматься на работу. Но Саффи молчит — он с размаху налетел на ее молчание. Как ударился. Осекся, присмирел.

Вот они — лицом к лицу, мужчина и женщина, ничего друг о друге не знающие. Они стоят в дверях, он по одну сторону порога, она по другую, и смотрят друг на друга. Нет, вернее, он смотрит на нее, а она... она здесь. Рафаэль такого никогда не видел. Эта женщина здесь, и в то же время ее здесь нет — слепому ясно.

Когда звонок затренькал пронзительным «фа-бекар», Рафаэль как раз играл высокое «фа-диез». Содрогнувшись от диссонанса, он остановился, растерянно озираясь. Завис между двух миров. Ни в том мире, где все струится и трепещет в переливах звуков, ни в том, где молодые женщины откликаются на его объявление в «Фигаро».

«Черт!» Он бережно положил свой инструмент работы Луи Лота на синий бархат футляра и проследовал к двери — сначала по ковру гостиной, затем по паркету прихо-

жей. Все вокруг него блестело и сверкало, дышало достатком и хорошим вкусом; цвета в красно-коричнево-золотистой гамме, отдохновение для глаз, так и хочется погладить, гобелены на стенах, дубовая полированная мебель, уютно, изысканно, тепло, но в луче света плясали тысячи пылинок — за всем этим кто-то должен был следить.

Мать подробно проинструктировала Рафаэля неделю назад, когда оставила ему парижскую квартиру и перебралась с пожитками и прислугой в родовое гнездо в Бургундии. Во-первых, следовало грамотно составить объявление для «Фигаро», во-вторых, тщательно выбрать. Не дай Бог, пустить в дом воровку! Таких сразу видно по глазам, они у них так и бегают.

«Треб. пом. хоз. к од. муж., с прож., умен. готов. обязат.».

Текст лаконичный; Рафаэль остановился на нем, потому что терпеть не может изображать из себя буржуа, Саффи — потому что в нем не содержалось «обязательных рекомендаций» и «морального облика».

По телефону эта девушка говорила с акцентом; каким? Рафаэль не смог определить, но ее французский звучал неуверен-

но. Да он, собственно, ничего не имел против. Только бы не попалась болтушка вроде Марии Фелисы, португалки и маминой наперсницы с незапамятных времен. А там уж Рафаэль объяснит своей будущей прислуге, что он сверхчувствителен к звукам. Что ни в коем случае нельзя орудовать пылесосом, когда он дома. Что не может быть и речи о том, чтобы напевать, вытирая пыль. Что за упавшую на кухне кастрюлю в часы его репетиций можно и места лишиться.

И вот он рывком распахивает дверь в приторном гневе:

— Какого черта?

Щурится, привыкая к полумраку коридора, вглядывается в глаза девушки — не бегают ли — и застывает как вкопанный.

Что это?

Улыбка — словно нарисованная. Опущенные руки. Хрупкая фигурка. Это все, что он успел заметить, — и камнем упал, провалился, в ее глаза. Зеленые глаза, матовые, как два кусочка нефрита. Тихие омуты, без отражения, без движения.

С этой первой минуты безучастность Саффи завораживает Рафаэля, чарует его, влечет. С этой первой минуты, еще не зная

даже, как ее зовут, Рафаэль понял, что ей, этой молодой женщине, все равно, получит она место или нет. Ей все равно, живет она или не живет. Она плывет по течению, отдается на волю волн, без страсти и без страха. В ней нет ни лицемерной и расчетливой стыдливости порядочной девушки, ни столь же расчетливой на поверку развязности шлюхи. Она просто здесь. Такого он никогда не видел.

— Заходите, прошу вас, — говорит он наконец совсем другим тоном, кратко и почтительно.

В движениях Саффи, когда она переступает порог, видна та же бесстрастность, которую он видел в ее глазах, та же безучастность. Рафаэль закрывает за ней дверь, и вдруг его желудок выкидывает такое коленце, что ему приходится остановиться и перевести дыхание, уставившись в деревянную створку, прежде чем повернуться.

Потом он идет впереди нее по коридору, чувствуя затылком пустой взгляд зеленых глаз.

В гостиной она садится в кресло напротив него — он на диванчике — и молчит. Глаза неотрывно смотрят на ковер. Он, пользуясь

случаем, спешит разглядеть ее как следует. Волосы, не очень длинные, стянуты простой резинкой в «конский хвост». Высокий лоб, выступающие скулы, губы накрашены, в безупречной форме ушах фальшивые жемчужинки, точеный нос, четкие надбровные дуги — лицо с правильными чертами, на котором ничего не написано. Ни жеманства, ни кокетства, абсолютно ничего. Косметика и украшения не вяжутся с поразительной неподвижностью этих черт. Рафаэля просто оторопь берет.

Рука его машинально тянется к бронзовому колокольчику: позвать прислугу, попросить принести им кофе, — он вовремя спохватывается, смеется про себя, какая прислуга, прислуга-то — вот она, итак, о чем мы, кто вы, моя дорогая...

— Вы мадемуазель...

— Меня зовут Заффи, — говорит она. Рафаэль переспрашивает, потом просит повторить по буквам — первая «с», ее имя Саффи, но произносится Заффи: дело в том, что она родом из Германии.

Немка. Это слово почти что запрещено в доме на улице Сены. Мать Рафаэля никогда

не говорила ни «боши», ни «фрицы», ни даже «немцы» — просто «они». Впрочем, чаще она вовсе ничего не говорила, только поджимала губы так, что они превращались в тоненькую горизонтальную линию на ее узком костистом лице. Хотя ее муж погиб не совсем на войне, но все же это немцы виноваты в том, что мадам де Трала-Лепаж осталась вдовой в сорок лет с печальной перспективой жить еще годы и годы без малейшей надежды на любовь, ласку и подарки какого бы то ни было мужчины. Жизнь отца Рафаэля, преподавателя истории в Сорбонне, специалиста по материалистической и гуманистической мысли, оборвалась подле Центрального рынка в кошмарном январе сорок второго года под грузовиком с картошкой, который опрокинула толпа обезумевших домохозяек. (Знать бы еще, что делал милейший профессор перед смертью на улице Кенкампуа в шесть часов утра...)

Два года спустя оккупанты расстреляли четырех подпольщиков прямо перед их домом, и Рафаэль, свесившись из окна гостиной и вцепившись руками в кованые перильца узкого балкончика, смотрел на лужу крови — уже пару минут как стихли вы-